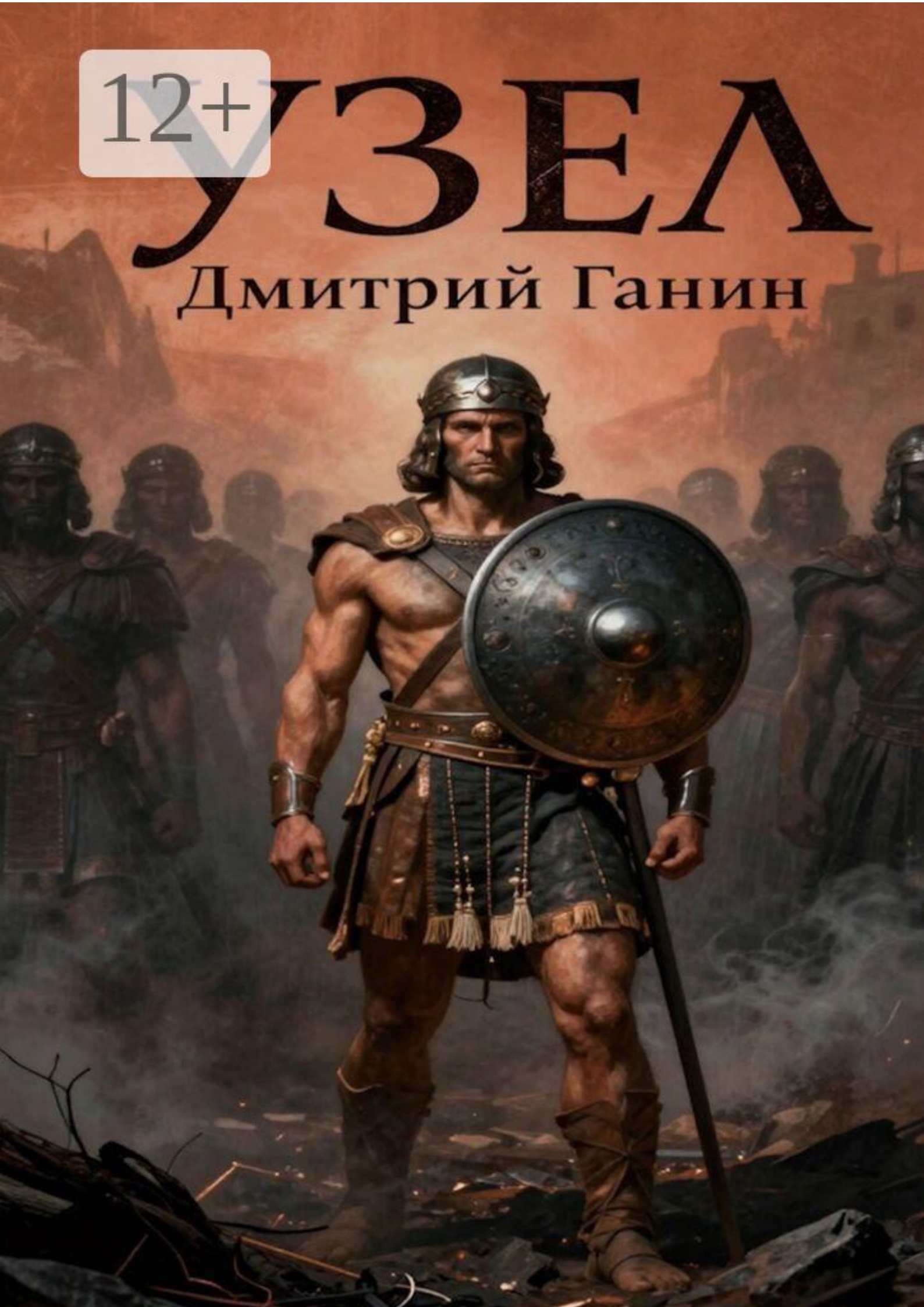
12+

УЗЕЛ

Дмитрий Ганин



Дмитрий Ганин

Узел

«Издательские решения»

Ганин Д. А.

Узел / Д. А. Ганин — «Издательские решения»,

Под Мантинеей Спарта потеряла триста щитов. Вернулся один — Никострат, сын Евклеса, с раной, которая не кровоточит, и с числом, которое не отпускает: сто сорок один. От поля мёртвых до Эврота за ним шли павшие — строем. Город посылает его к Немезиде — богине, которую Спарта не чтит. Там он узнаёт: счёт мёртвых можно закрыть, но тот, кто назовёт число вслух, сам станет мерой. Немезида не карает — она сводит счёт. И самое страшное в нём то, что он справедлив.

© Ганин Д. А.
© Издательские решения

Содержание

ОТ АВТОРА 6
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ОДИН ИЗ ТРЁХСОТ 7
«РАМНУНТ» 9
ГЛАВА ВТОРАЯ. ТРИ ВОПРОСА ЭФОРОВ 10
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. КЛЕЙМО 13
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. ГОЛОС В МАРШЕ 16
ГЛАВА ПЯТАЯ. ДОМ БЕЗ ОТЦА 19
Конец ознакомительного фрагмента. 22

Узел

Дмитрий Анатольевич Ганин

© Дмитрий Анатольевич Ганин, 2026

ISBN 978-5-0071-5793-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ОТ АВТОРА

Эта книга выросла из вопроса, который я один раз услышал и не смог забыть: «Почему ты жив?»

В Спарте выживший из погибшего полка подлежал суду — не за трусость, а за само выживание. Город считал, что из строя уходят все или никто, и вопрос «почему ты» задавался не телу — душе. Я стал думать о человеке, на которого этот вопрос обрушился вместе с раной, не знающей кровотечения, — и с тем, что шло за ним от поля мёртвых до самой переправы.

Триста лет назад у одного алтаря было произнесено одно слово — и с тех пор счёт мёртвых всегда сходится к одному числу. Так в роман вошла Немезида — не как богиня, которая карает, а как мера, которая уравнивает. Я старался писать её так, как писали греки свои сказания: без морали поверх истории. Немезида в этой книге не судит и не милует — она сводит счёт. И самое страшное в этом счёте то, что он справедлив.

Я не ставил цели реконструировать Спарту пятого века до нашей эры, хотя держался известных черт: эфоры, сисситии, гонцы, агора. Это историческое фэнтези — мир узнаваемый, но живущий по правилам, которых не было ни в одной хронике: мёртвые здесь идут строем, печать проступает на коже, а алтарь, которого не было, найдётся в последней трети книги. Правды о войне в романе больше, чем чудес о богах, — но чудес я не жалел.

И последнее. Дочь, жрица, писец, гонец — в этой книге счёт важнее меча: кто умеет считать, тот не ищет виноватых — тот ищет причину. Читайте как угодно: как приключение о проклятии, как историю о выжившем, которого город отправил на вражескую землю одного, — или как сказание о долге, который старше всех законов, о которых писали чужие.

Чаша на пороге ждёт всех. А печать — тех, кто у алтаря.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ОДИН ИЗ ТРЁХСОТ

Мантинея стоила Спарте шестисот тел — и Никострат получил одну рану, из которых не умирают.

Он не мог объяснить это лекартам: копьё прошло под левой лопаткой, со стороны спины, насквозь, — и вышло, не зацепив лёгкого, не зацепив ничего, что копьё не должно обходить. Лекарь из полковых обозников щупал рану, щурился, щупал снова и в конце концов сказал то, что говорил каждому выжившему из каждого полка за всю историю войн:

— Тебе не повезло.

Он не сказал «повезло». Он сказал «не повезло», и Никострат понял: даже лекарь знал, что этот выживший из полка — человек, для которого вперёди не строят.

Полков было три. Шли они в первое построение Мантинеи в полный счёт — триста щитов в столице, потому что город послал не отряд: город послал статью своего имени. И вернулись из-под Мантинеи двое. Никострат — один из двух; второй умер на третьи сутки, как умирают от ран, которых лекари не умеют считать: тихо, во сне, не проснувшись, как будто решил не возвращаться. Так что выживших был один. Он.

Никострат шёл обратно в Лакон пешком — с обоза, с ранеными, неся свой щит, потому что щит спартиат несёт сам: щит не бросают. Он шёл и слушал, как за спиной, на поле, которое оставалось за хребтом, стоят павшие. Не стоят — стоят. Никострат с детства знал, как говорят о битвах те, кто в них не был: павшие «лежат». Павшие не лежали. Павшие стояли — и шли за ним, в шаг, со скоростью раненого обоза, и Никострат не оборачивался, потому что оборачиваются те, кто не уверен.

Он был уверен. Он считал.

Это была спартанская привычка, отданная ему дедом: считать. Не страх — счёт. Пока идёшь — считай шаги. Пока стоишь в строю — считай дыхание фаланги слева. Пока умирают рядом — считай, сколько щитов вокруг ещё держат вертикально. Счёт не давал смотреть туда, куда смотреть нельзя. Счёт был той самой мерой, которой держится человек, когда под ним ничего нет.

К третьему дню пути Никострат насчитал за собой сто сорок один.

Сто сорок один шаг — сто сорок один мёртвый. Это не был страх и не был бред: он проверял, как проверяют счёт. Останавливался. Прислушивался. Шаги за спиной останавливались тоже — ровно, как останавливается строй. Шёл — и шаги шли. Он не знал имён. Он не знал, кто из них те, которых он убил, и кто — те, с которыми ходил в столице. Он знал только счёт. Счёт был милосерднее имён.

На седьмой день, у переправы через Эврот, он перестал слышать шаги.

Он не обрадовался. Он встал на колени у воды — не для омовения, для счёта — и положил ладонь на камень у самого русла, так, как кладут руку на спину упавшего товарища, — и камень был холодный. Мёртвый камень. Мёртвая вода. Мёртвый мир, в котором впервые за семь дней не было того, что шло за ним со скоростью раненого обоза.

Никострат выпрямился и пошёл дальше — к Лакону, к трём вопросам эфоров, к суду, на котором его ждало не наказание: наказание спартанец вынесет. Его ждало худшее.

Его ждало «почему».

Три вопроса эфоров были старше всех законов, о которых писали чужие: не «что ты сделал» — «почему ты жив». Первый вопрос звучал всегда один и тот же: «Вернулся ли ты потому, что бросил строй?» Второй — тоже: «Вернулся ли ты потому, что бежал?» Третий задавался в зависимости от ответов на первые два, и ответ на него нельзя было подготовить, потому что эфоры придумывали его у себя в скриптории, за закрытыми ставнями, и никогда — Никострат знал это по чужим судам — не спрашивали того, что спрашивают дважды.

Никострат вошёл в скрипторий в вечер третьего дня после возвращения — вымытый, в чистом плаще, с щитом, который несли за ним двое илотов, потому что обвиняемому не положено нести свой щит: щит несут за обвиняемым, как несут за преступником орудие.

Эфоров было трое из пяти. Старший сидел в центре — тот, которого звали Гилипп, сорок лет сидевший на своём месте и видевший на своём месте одиннадцать выживших из полков. Он знал всех одиннадцать. Он помнил, чем кончили девять из них.

— Никострат, сын Евклеса, — сказал Гилипп без вступления. — Первый вопрос. Вернулся ли ты потому, что бросил строй?

— Нет.

— Второй вопрос. Вернулся ли ты потому, что бежал?

— Нет.

Гилипп помолчал. Потом сказал третий вопрос — тот, которого Никострат не ждал:

— Никострат. Ты стоял в первом построении. Триста щитов. Из них выжил один. Расскажи мне не то, что ты делал. Расскажи мне то, что ты видел.

И Никострат — впервые за семь дней, впервые с Мантинеи, — сказал правду.

Не потому, что хотел. Потому что третий вопрос был спартанским приёмом: на него нельзя ответить строем, по уставу, по учению — можно ответить только собой. Это был вопрос, который эфоры задавали не телу. Душе.

— Я видел, — сказал Никострат медленно, — что павшие не легли.

— Что значит «не легли»?

— Они шли за мной. До Эврота. Сто сорок один. Я считал.

В скриптории было тихо так, как тихо в доме, где только что произнесли имя покойника не в час оплакивания.

Старший из троих эфоров — не Гилипп, второй, толстый, с перстнем, — переглянулся с третьим. И третий, самый молодой, тот, который был в Мантинее наблюдателем, а не бойцом, сказал голосом, в котором не было ни насмешки, ни ужаса — только ремесло:

— Сто сорок один. — Он поднял глаза на Никострата. — Ты уверен в числе?

— Уверен.

— Тогда, — сказал молодой эфор, — тебе не повезло вдвойне. Сто сорок один — это не бред. Это счёт. А счёт, Никострат, — это то, что в Спарте проверяют.

Он подошёл к столу, взял глиняную табличку — не писцовскую, обиходную, — и написал на ней одно слово. Потом повернул к Никострату.

На табличке стояло:

«РАМНУНТ»

— Ты пойдёшь туда, — сказал молодой эфор. — Один. Без сопровождающих, без щита, без доли в сисситии. Ты пойдёшь на вражескую землю, в святилище богини, которую наш город не чтит и не проклинает. И ты вернёшься с ответом на вопрос, который мы тебе не задаём. — Он положил табличку на стол лицом вниз. — Потому что триста лет назад у одного алтаря было произнесено одно слово. И с тех пор, Никострат, кто бы ни видел мёртвых живыми глазами, — в Спарте это число всегда сходится к одному: сто сорок один. Всегда. В любой войне. В любой битве. Это счёт, который наш город не учит и не забывает.

Никострат смотрел на табличку лицом вниз — на табличку, которую он не мог прочесть, потому что она была перевёрнута, — и понимал впервые за всю свою жизнь то, чего не понимал ни один спартиат его возраста:

В Спарте было что-то, о чём не писали в уставах и не говорили в сисситиях. Что-то старше всех законов, о которых писали чужие. Что-то, что ходило за выжившим из полка с поля мёртвых со скоростью раненого обоза — и останавливалось у Эврота.

— Когда выхожу? — спросил он.

— Завтра, — сказал Гилипп. — До рассвета.

ГЛАВА ВТОРАЯ. ТРИ ВОПРОСА ЭФОРОВ

Никострат вышел из Скопаса до рассвета, как велели, — но не на дорогу в Рамнунт.

Дорога на север, в Аттику, была бы дорогой беглеца: спартиат, которого послали один, без щита и без доли, на вражеской земле — это не поручение. Это способ, которым город избавляется от человека, не запачкав рук о его кровь. Никострат понял это той же ночью, лёжа в казарме и глядя в потолок, где илот раз в месяц должен был паутину сметать — и не сметал. Табличка с «Рамнунтом» была дана ему не для чтения. Она была дана для чужих глаз: пусть воины видят, что выживший отправлен к богине, которую Спарта не чтит. Пусть видят и запомнят, как выглядит человек, которого город уже отпустил от себя.

Но молодой эфор, тот, что был в Мантинее наблюдателем, положил табличку лицом вниз не зря. Перевёрнутая табличка — это слово, которое не сказано до конца. И спартиат, чья вся жизнь была служением сказанному до конца, не мог уйти, не перевернув её.

Поэтому на рассвете Никострат стоял не у северных ворот. Он стоял у скриптория — там, где накануне его судили трое из пяти.

Эфоров в Спарте было пять, и это число не менялось от рождения города до смерти его: двое из рода, трое из народа, и все пять — неспросимые. Царя спросить можно было — о войне, о суде, о хлебе. Эфора не спрашивал никто, потому что эфор был не старше и не мудрее — он был тот, кто спрашивает. Спартанец рождается, чтобы отвечать. Эфор рождается, чтобы спрашивать, и счастье его в том, что от ответов его собственная душа не зависит.

Скрипторий открывали с третьим петухом. Никострат знал это, потому что в двенадцать лет его водили сюда смотреть, как пишут законы, — не читать, смотреть. Мальчишкам показывали не буквы: мальчишкам показывали, как человек, который спрашивает, ставит вопрос на глину так, чтобы глина держала его и через триста лет.

Дверь открыл не писец. Дверь открыл молодой эфор.

— Ты не ушёл, — сказал он. Это не был вопрос.

— Табличка перевёрнута, — сказал Никострат. — Я не умею уходить за словом, которого не дочитал.

Эфор посмотрел на него долго. Потом сказал:

— Войди.

Скрипторий внутри пах воском и холодной глиной. Столы стояли не так, как стояли в казармах: не строем — кругом. Никострат впервые увидел комнату, в которой мебель не учили строю, и это отозвалось в нём чем-то, похожим на стыд за собственное удивление.

— Садись, — сказал эфор и сел сам, против обыкновения эфоров садиться первыми.

— Стоящий не садится перед спрашивающим.

— Тогда слушай стоя. — Эфор снял со стола табличку, ту самую, и перевернул лицом вверх. — Читай.

На табличке стояло: «РАМНУНТ».

— Я не умею читать, — сказал Никострат. Это было правдой, и это было ложью: читать он умел, как умел каждый спартиат, прошедший агоге, — законы, войные списки, счета ячменя. Но эфор сказал «читай» голосом, которым говорят не про буквы.

— Ты умеешь, — сказал эфор. — Ты умеешь то, чего не умел никто из одиннадцати. Ты считал мёртвых. Ты назвал число. Сто сорок один.

— Да.

— Я скажу тебе, почему это число, и ты не поверишь мне, пока не дойдёшь до Рамнунта. — Эфор положил табличку на стол и придвинул к Никострату чашу с водой. — Пей. Дорога длинная.

Никострат не тронул чашу. Эфор не настаивал.

— Сто сорок один, — повторил эфор. — Каждый раз. Я тебе расскажу историю, Никострат, и ты не повторишь её никому, потому что я — эфор, а ты — живой, и разница между нами в том, что один из нас умеет молчать. Триста лет назад, при первом царе из нашего рода, полк из трёхсот щитов ушёл против аргосцев и не вернулся. Вернулся один. Он был ранен так, как ранен ты: под левой лопаткой, насквозь, и не кровоточил. Он тоже шёл от поля мёртвых до Эврота и тоже считал. Он тоже назвал число — сто сорок один. И тогда эфоры его времени спросили его третьим вопросом — тем, который нельзя подготовить, — и он ответил правдой, как ответил ты: павшие не легли.

Эфор помолчал.

— Что с ним сделали? — спросил Никострат.

— Ничего, — сказал эфор. — В этом и была ошибка. С ним ничего не сделали. Его послали к богине, которую город не чтит, — так же, как послали тебя. И он дошёл. И вернулся с ответом. И эфоры его времени сочли ответ бредом раненого — и отпустили его в отставку с почётом. Через год он умер от раны, которая вдруг открылась. Через десять лет умер его сын — с той же раной, на том же месте, и с тем же счётом за спиной. Через тридцать лет — его внук. И вот тогда, Никострат, — эфор поднял на него глаза, — наш город понял, что не вмешался в срок. Мы платим этим до сих пор.

— Печать, — сказал Никострат. — Знак под лопаткой. Он был.

— Он был у всех троих. И у каждого — с той же стороной: печать проступает там, куда вошло копьё, которое не должно было обойти ничего. — Эфор взял со стола глиняную писцовскую табличку — новую, пустую — и повернул к Никострату лицом. — Скажи, что ты видишь.

На табличке не было ничего. Никострат смотрел на пустую глину — и говорил правду, как говорил на суде:

— Ничего.

— Теперь слушай. — Эфор провёл ногтем по глине — один раз, коротко. — Я ничего не написал. Но когда ты дойдёшь до Рамнунта — ты прочтёшь на этой табличке слово. И то, что ты прочтёшь, будет ответом на третий вопрос, который тебе не задали. Возьми её.

Никострат взял. Табличка была пустая, глиняная, тёплая от рук писцов, — и весила меньше, чем щит, который он не нёс.

— Один вопрос, — сказал Никострат. — Вы не спрашивали на суде того, что спрашивают дважды. Спросите теперь.

Эфор посмотрел на него так, как смотрят на того, кто раньше времени открыл сундук.

— Спрошу, — сказал он. — Один раз. Ответь правдой или не отвечай вовсе, потому что второй попытки у этого вопроса нет. — Он выпрямился, и Никострат впервые увидел, что эфор перед ним устал — не от ночи, не от пути: от лет, в течение которых он задавал этот вопрос сам себе. — Никострат, сын Евклеса. Когда павшие шли за тобой до Эврота — ты оборачивался?

И Никострат понял, почему этот вопрос нельзя было подготовить. На суде он сказал бы «нет» — и сказал бы правду: он не оборачивался. Но здесь, в скриптории, где пахло воском и холодной глиной, где столы стояли кругом, а не строем, где эфор сел первым, — здесь слово «нет» не выходило изо рта.

Он сказал:

— Я не оборачивался. Но они знали, что я их считаю. Это я знал, — поправился он, — а не они. Я не знаю, что они знали. Я не хотел знать.

Эфор кивнул — медленно, как кивают не согласию, а конца срока.

— Иди, — сказал он. — Ты выйдешь из Скопаса сегодня до полудня, и никто не увидит, как ты выходишь. Табличку неси за пазухой, не показывай никому. На чужой земле тебя зовут не Никострат. Там тебя зовут Аргос, и ты каменотёс из Аркадии, идущий на юг за камнем для гробницы. Запомни: каменотёс не умеет считать. Каменотёс умеет расчитывать камень, но

счёта мёртвых он не знает. И если кто-то на дороге спросит тебя, сколько тебя шло, — отвечай: один. Всегда один.

— А если спросят, почему один?

— Тогда ты не каменотёс, — сказал эфор, — и дорога для тебя кончается там, где ты это сказал.

Никострат положил табличку за пазуху. У двери он остановился — не потому, что хотел спросить ещё, а потому, что тело само остановилось там, где останавливается спартиат: перед порогом, за которым начинается дорога.

— Ты не спросил, что в табличке, — сказал эфор ему в спину.

— Я прочту в Рамнунте.

— Ты прочтёшь в Рамнунте то, что на ней есть. А я скажу тебе то, чего на ней нет. — Эфор поднялся, и голос его был ровен, как счет ячменя. — На этой табличке нет числа. Когда ты вернёшься, ты скажешь мне, почему счёт всегда сходится к сто сорока одному. И если ты не вернёшься — я узнаю это от богини, а не от тебя.

Дверь закрылась за Никостратом так тихо, как закрывается дверь, которую закрывает человек, оставшийся один.

У северных ворот, там, где дорога уходила из Лакона на север, Никострат остановился последний раз на спартанской земле.

Он не оглянулся — он смотрел вперёд, на дорогу, и дорога была пуста. Но за спиной, в такт его дыханию, в такт шагу, который он не делал, слышалось то, что слышал он семь дней от Мантинеи до Эврота: строй мёртвых, идущий за выжившим. Они вернулись. Они шли не за ним — они шли за табличкой. И Никострат понял это не умом, а кожей, там, где под левой лопаткой, под печатью, которая не кровоточила, что-то впервые за семь дней откликнулось — не болью. Согласием.

Он сделал первый шаг. Строй за спиной сделал первый шаг тоже.

Дорога на север была длинной. Но счёт, как сказал бы любой из павших, которых он не оборачивался посчитать, — счёт не имеет длины. Счёт имеет число.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. КЛЕЙМО

Аркадия началась не с границы — с перемены счёта.

На спартанской земле Никострат считал шаги. На аркадской ему пришлось считать другое: чужие взгляды. Дорога на север шла через холмы, где пастухи встречали путника взглядом, который нельзя было перепутать со взглядом попутчика: они мерили его на вес — не золота, не силы, а того, что он везёт. Табличка за пазухой весила меньше щита. Но взгляд пастуха у Тегеи был тяжелее всякого щита, и Никострат впервые в жизни учился носить груз, которого не видно.

— Куда путь, каменотёс? — спросил пастух, когда обогнал его у ручья.

— На юг. За камнем для гробницы, — ответил Никострат.

— Один идёшь?

— Один. Всегда один.

Пастух кивнул, как кивают не словам, а качеству слов: сказано чисто, без запинки. И Никострат понял, что эфор подготовил его не к аркадской земле — к первому вопросу любой дороги: «сколько тебя шло». Вопрос, который задают не из любопытства. Вопрос, которым дорога мерит путника: умеет ли он отвечать то, что от него хотят, или везёт в себе что-то, что не взвесить.

Имя Аргос он носил три дня и научился ему, как учатся чужому плащу: сначала мешает, потом греет. Каменотёс из Аркадии не знал, как закалывают жертвенного барана, — и Аргос не знал. Каменотёс не строился, когда слышал за спиной шаг, — и Аргос не строился, потому что за спиной Аргоса не было никакого строя. Только мёртвые шли за ним все те же сто сорок один — и Никострат хватился этого на четвёртый день, у переправы через Алфей.

Их было сто сорок один.

Не сто сорок. Не сто сорок два. За семь дней пути счёт не изменился ни на единицу, и это было страшнее всего, что Никострат испытал на поле Мантинеи: мёртвые не прибывали — но и не убывали. Как будто они шли не за ним. Как будто они шли за числом.

У переправы он в последний раз оглянулся.

Он делал это впервые со времён Эврота — и то, что он увидел, не было ни видением, ни тьмой, ни чем-либо из того, о чём писали чужие. Он увидел строй. Обычный спартанский строй, какой он сам занимал двести раз: щиты, копья, по четыре в ряд — но щиты не держали вертикально, копья несли опущенными, и ни один из стоящих не поднял глаз. Сто сорок один человек стояли на дальнем берегу и ждали — не его. Очереди.

И у каждого на спине, там, где у него самого было копьё, — было то же место, и на том месте Никострат различил — не увидел, различил, как различают то, о чём знали заранее, — знак.

Он перевёл взгляд на свою левую лопатку. Рана не болела. Рана вообще никогда не болела — и это было хуже любой боли: рана, которая не болит, не заживает.

— Ты много спины рассматриваешь, каменотёс, — сказал лодочник, отталкивая барку от берега. — Спина — не зеркало. В ней ничего не увидишь.

— Это не зеркало, — сказал Аргос. — Это счёт.

Лодочник рассмеялся — не злым смехом, смехом человека, который везёт таких, как этот, каждый день. И Никострат на середине Алфея понял то, что ему не сказал эфор: на чужой земле его ждала не погоня и не засада. Его ждало то, что он увидел впервые не глазами.

Городок звался Герее, и писец жил в нём при храме Деметры — не жрецом, не служкой: писцом. В городах Аркадии так бывало: человек, умеющий писать, был слишком редок, чтобы ему разрешали выбирать бога. Писец писал для всех — записи о долгах, счета ячменя, рас-

писки, молитвы. Он писал и для тех, кто не умел читать то, что сам приказал написать, — и оттого знал о городе всё.

Никострат пришёл к нему на шестой день — не по нужде и не по плану. Табличка за пазухой грелась. Он не знал, как это объяснить, — глина не греется сама, — и глина, которая греется, была для спартиата вещью столь же невозможной, как строй, который не строится. Её надо было либо выбросить, либо отнести тому, кто знает о глине больше.

Он выбрал писца.

— Мне нужна запись, — сказал он.

— Какая?

— На глиняной табличке. Она у меня есть. Мне нужно прочесть, что на ней.

Писец — старик с ногами, изувеченными столом, за которым он просидел сорок лет, — протянул руку. Никострат отдал табличку. Старик перевернул её, повертел к свету, поднёс к глазам — и Никострат увидел то, чего не видел ни на одном чужом лице за шесть дней пути: страх. Не испуг — страх старый, глубокий, как колодец, страх, который человек носит в себе десятилетиями, а встречает лишь раз.

— Ты где её взял? — спросил писец.

— Мне её дали.

— Кто дал?

— Человек, который ничего на ней не написал.

Писец положил табличку на стол — так, как кладут не вещь, а нечто, что может укусить, — и долго смотрел на Никострата. Потом сказал:

— Сними рубаху. Спину к свету.

Никострат не двигался. Спартиат не снимает рубаху перед чужим человеком в чужом городе — за этим следят строже, чем за речью.

— Я не спрашиваю, кто ты, — сказал писец. — Я спрашиваю один раз: сними рубаху. Или уйди — и тогда я скажу в городе, что приходил каменотёс, который не умеет писать по глине и боится показать спину. И за тобой придут не мои глаза.

Никострат снял рубаху.

Старик обошёл его кругом. Он не касался спины — он смотрел, как смотрят не на человека: на надпись. И когда он встал перед Никостратом снова, он сказал то, чего не сказал бы ни эфор, ни лекарь, ни лодочник:

— Сто сорок один.

Никострат не удержался — он схватил старика за руку, и рука в его хвате была сухая, лёгкая, как ветка:

— Откуда ты знаешь это число?

— Я не знаю это число, — сказал писец спокойно, не вырывая руки. — Я умею читать печать. Печать — это не знак, каменотёс. Печать — это запись, которая пишет себя сама. На твоей спине записано не имя. Число. Я умею читать числа. И то число, которое я прочитал на твоей спине, — оно не про тебя. Оно про них. Сколько их?

— Сто сорок один, — сказал Никострат и отпустил руку.

— Значит, они все ещё с тобой. — Писец сел на своё место за столом, как садится человек, у которого от этого место болело сорок лет. — Слушай меня, каменотёс, потому что сказать я могу один раз. В Рамнунте тебе дадут ответ, но не дадут срок. Я дам тебе срок. Тебе идти до Рамнунта девять дней. На девятый день, когда ты войдёшь в святилище, у тебя на спине будет то, чего у тебя сейчас нет, — и то, что у тебя будет, не увидит никто, кроме той, к которой ты идёшь. Но табличка — — он коснулся глины пальцем, — — табличка напишется раньше. Не когда ты прочтёшь. Когда ты поймёшь. Табличка не несёт слова — табличка несёт твоё право прочесть слово. Триста лет её носят такие, как ты. Каждому она является пустой. Каждый везёт её назад — пустой. Ты первый, кто принёс её греющейся.

— Почему я?

— Потому что ты — не один, — сказал писец просто. — На твоей спине записано сто сорок один. А на спинах тех, кто шёл до тебя, было записано одно число — «один». Ты первый, кто считал их всех. Ты первый, кто назвал число вслух. И печать, каменотёс, — печать отвечает не тому, кто её носит. Печать отвечает тому, кто её прочитал.

Старик подтолкнул табличку обратно через стол. Никострат взял её — и ожёгся. Не о глину — о тепло, которое от неё шло, — тепло, которого не бывает у глины, — тепло, которое бывает у живого.

— Мне идти дальше на юг? — спросил он.

— Тебе идти куда угодно, — сказал писец. — Ты уже идёшь. Табличка не спрашивает дорогу. Табличка ведёт. И, каменотёс, — он поднял на него глаза, в которых не было ни мольбы, ни жалости, — не оглядывайся больше. Никогда. Они не идут за тобой. Они идут за числом, которое ты назвал. И каждый раз, когда ты оглядываешься, ты подтверждаешь им, что число — это ты.

Никострат оделся. У двери он остановился — так же, как останавливался в скриптории, — и спросил то, что не спросил у эфора, потому что эфора нельзя было спрашивать, а у писца можно было, потому что писец писал и для тех, кто не умеет читать:

— А если я не дойду?

— Тогда, — сказал писец, — табличку понесёт следующий. И следующему она будет дана пустой. И следующему она будет холодной. И следующему она будет весить как щит.

Дверь за Никостратом закрылась тихо — так же, как закрывалась в Скопасе, — и это было последнее, что он услышал в герейском городе.

Девять дней до Рамнунта. Табличка грелась за пазухой, как греется то, что ждёт. Строй на дальнем берегу Алфея не исчез — он встал туда, куда встаёт строй на привале: в тени, у воды, опустив щиты.

Никострат не оглядывался.

Но счёт — счёт он считал. Каждого шага. Каждого дня. Он шёл на юг — к чужому святилищу, к богине, которую его город не чтит, — и с каждым шагом число за спиной оставалось тем же, а табличка становилась теплее. И на девятый день пути, когда впереди встали кипарисы Рамнунта, табличка стала такой горячей, что Никострат вынул её и держал в ладони — не за пазухой, в ладони, как несут не глину.

Огонь. Глина горела.

На табличке, которую молодой эфор не написал, появилось слово. Слово не было выцарапано — оно проступало изнутри, как проступает под кожей печать, как проступает в воде дно. Никострат смотрел на него девять дней дороги — но только сейчас, в ладони, у кипарисов, он позволил себе прочесть.

«СЧИТАЙ».

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. ГОЛОС В МАРШЕ

Святилище Немезиды в Рамнунте не было похоже на то, что Никострат знал о святилищах.

Он видел храмы — в Спарте, на пути, в чужих городах, куда водили его в юности показать «как живут прочие эллины». Храмы всегда стояли лицом к людям: ступени, колонны, алтарь перед входом, огонь, который поддерживают жрецы, чтобы бог чувствовал себя приглашённым. Храм — это дом, в котором бога принимают.

Святилище Рамнунта не принимало. Оно ждало.

Кипарисы стояли в два ряда — не аллеей, а строем, — и Никострат, вошедший между ними, понял, что это не деревья: это порядок. Идти между ними полагалось одному, и потому он оставил на дороге посох, которого не имел, и узел, которого не вёз, — и пошёл дальше с одним грузом: табличка горела в ладони, и он держал её, как держат не вещь, а живое.

Жрица стояла не у храма — у алтаря, который был не алтарём, а весами.

Он понял это не сразу. Два каменных столба, поперечина, чаши — на первый взгляд, обычные весы, каких много у всякого порта, у всякого рынка, у всякого народа, который торгует. Но чаши были пусты — и весы качались. Без груза, без ветра, в полном безветрии позднего утра качались сами — с той медленной уверенностью, с какой качается маятник, которому никто не мешает.

— Ты опоздал на девять дней, — сказала жрица, не оборачиваясь.

Она была стара — не немощна, стара: возраст в ней был не слабостью, а слоем, как слой воска на писцовской табличке, поверх которого читается всё предыдущее.

— Дорога длинная, — сказал Аргос-каменотёс.

— Дорога не длинная. Дорога — девять дней. Долго — это триста лет, — жрица обернулась. Она посмотрела не в лицо ему — на левую лопатку, на место под плащом, — так, как смотрят на табличку: читают. — Сними.

Он снял рубаху. Утренний холод лёг на спину — и печать откликнулась на холод так, как откликается живое на касание: не болью. Согласием. Он уже знал это согласие — оно было тем же, что у Эврота, когда строй вернулся.

Жрица читала долго. Никострат стоял и чувствовал взгляд, как чувствуют палец писца: по спине шли строки, которые он не мог увидеть, — и когда жрица произнесла вслух первое число, у него не дрогнуло ничего, кроме счёта за спиной.

— Сто сорок один, — сказала жрица.

— Да.

— Ты знаешь, почему не сто сорок?

— Писец в Герее сказал: печать пишет не имя — число. Я считал их всех. Я назвал число вслух.

— Писец в Герее, — повторила жрица, и в голосе её что-то двинулось — не тень, не улыбка, движение, которое в её лице могло быть и тем и другим. — Писец умер четыре года назад, каменотёс.

Никострат не ответил. Он считал. Шесть дней назад у ручья стоял человек, у которого ноги были изувечены столом, за которым он просидел сорок лет, — и рука была сухая, лёгкая, как ветка. Он не оборачивался. Он не оглядывался с Эврота — и не собирался оглядываться и теперь. Но счёт — счёт он считал, и счёт говорил: тот, кто дал тебе срок, не мог быть мёртвым четыре года, потому что мёртвые не сидят за столом.

— Ты снова считаешь, — сказала жрица. — Остановись. Счёт не работает там, где работает правда. Слушай.

Она повела его мимо алтаря-весов — к подножию утёса, где в камне был вырублен вход, слишком низкий для человека со щитом. Вход был тёмен. Из тьмы шло тепло — то же, что грелось от таблички.

— Там внизу, — сказала жрица, — камера клятвы. Триста лет назад там была произнесена одна. Что за клятва — тебе не скажет ни жрица, ни эфор, ни камень: клятва не имеет содержания. Клятва имеет цену. И цена эта с тех пор идёт по роду, на котором её ставят, — и каждый раз находит того, кто умеет считать мёртвых.

— И что я должен сделать в камере?

— Ничего. В камере клятвы не делают. В ней слушают. — Жрица протянула руку за табличкой. Никострат отдал её — глину, которая горела. Жрица взяла — и не ожглась. — Табличка пустая для того, кто не дошёл. Для тебя она напишет слово, которое ты уже прочёл. Прочти его вслух — это откроет вход.

— «Считай», — сказал Никострат.

Тьма в вырубленном входе двинулась — не потемнела, не засветилась: двинулась, как двинулся бы строй, вставая с привала. И Никострат услышал — впервые не кожей, не спиной, ушами — то, что шло за ним от Мантинеи.

Голос был не один. Голосов было сто сорок один — но они говорили не хором: они говорили по очереди. Так, как говорит строю командир: поимённо.

Первым назвали не его.

Первым назвали имя, которого он не знал:

— Евклес.

Отца звали Евклес. Отец умер, когда Никострату было девять, — тихо, во сне, не проснувшись, как умирают от ран, которых лекари не умеют считать. Никострат знал это со слов матери — и матери уже не было, чтобы спросить. И вот в тьме перед вырубленным входом чей-то голос — сухой, старый, голос человека, у которого ноги изувечены столом, — произнёс поимённо:

— Евклес. Сто тридцать девятый.

И дальше — по списку. Имена неспартиатские и спартиатские, аркадские и аргосские, мужские и одно женское, и после каждого имени — число. Никострат стоял и слушал, как читают список мёртвых, который не писал никто, — и список заканчивался, подходя к числу, которое он назвал бы, если бы его спросили не о мёртвых, а о живых:

— Никострат, сын Евклеса. Сто сорок первый.

— Это ошибка, — сказал он.

— Это не ошибка, — сказала жрица. — Это уравнение. Слушай дальше — дальше идёт то, чего не было ни у кого из носивших печать до тебя.

И тьма перед входом продолжила — голосом, которого не было в списке. Голос был не старый и не молодой. Он был ровный, как счёт ячменя, и Никострат узнал его раньше, чем понял, откуда:

Голос был голосом молодого эфора.

— Сто сорок второй, — сказал голос из тьмы. — Гилипп. Старший из троих. Он задавал тебе три вопроса и ни один не задал сам себе. Он знает число, каменотёс. Он знал его одиннадцать раз — по одиннадцати выжившим из полков. Он знает, почему счёт всегда сходится. И он молчал.

— Он не может быть в списке, — сказал Никострат. — Он жив.

— Печать, — сказала жрица негромко, — не различает живых и мёртвых. Она различает тех, кто у алтаря, и тех, кто не дошёл. Твой эфор не дошёл, Никострат. Триста лет наш город не дошёл. И печать встаёт на того, кто первый назвал число, — потому что тот, кто называет число, становится мерой. — Она вернула ему табличку; глина была тепла — не горяча, тепла, как ладонь. — Вход открыт. Иди и слушай. И когда выйдешь — не возвращайся в Спарту тем

же путём, каким шёл. Тебе позволено вернуться только один раз, и путь этот уже назначен. Не нами.

— А кем?

Жрица посмотрела на весы — на качающиеся пустые чаши, которым никто не мешал.

— Тем, кого ты считаешь, — сказала она. — Они наконец дорасчитали тебя. Спускайся.

Никострат наклонился — и вошёл в камеру клятвы, куда за триста лет не вошёл никто из спартиатов, потому что Спарта не чтила Немезиду. Табличка в его руке остыла — окончательно, до температуры камня, — и в остывшей глине проступила последняя строка, которой не было утром:

«ОДИН НА ТРЁХСОТ — ТРИСТА НА ОДНОГО».

ГЛАВА ПЯТАЯ. ДОМ БЕЗ ОТЦА

Из Рамнунта Никострат вышел другим путём — так, как велела жрица.

Путь был назначен не нами, и теперь он знал, каким он будет: вдоль берега, на юг, к Арголидскому заливу, оттуда — торговым караваном через Тегею, и дальше, дальше теми самыми холмами, где пастухи мерят путника весом. Никострат не спрашивал, почему нельзя тем же путём, которым шёл. Вопрос ответился сам на второй день: на старой дороге, у ручья, где шесть дней назад стоял писец, стоял теперь строй. Сто сорок один. И у них было новое лицо в строю — лицо, которого Никострат не знал, лицо с перстнем на пальце, которое он видел в скриптории накануне суда.

Гилипп не смотрел на него. Мёртвые не смотрели на него ни разу за всё время — они ждали, считались, строились. Но строй теперь читался иначе: сто сорок первый плюс один. Никострат считал и не мог остановиться. Печать под левой лопаткой отвечала на каждый шаг согласием.

Он шёл к дому.

Дом стоял у дороги на Кларос, в часе от города, — дом, в котором он не был с девяти лет. Отец умер, когда Никострату было девять, — тихо, во сне, не проснувшись, как умирают от ран, которых лекари не умеют считать. Теперь он знал, как звучит этот диагноз. В тьме камеры клятвы голос сказал: «Евклес. Сто тридцать девятый». Отец был в счёте. Отец был одним из ста сорока одного — и шёл за сыном от Мантинеи до Эврота, и Никострат не оборачивался, потому что не хотел знать.

Он оборачивался теперь.

Мать открыла дверь до стука — так открывают дверь, когда ждут не гостя, а срок.

— Я знала, что придёшь с севера, — сказала она. — Входи. Не разувайся. У нас мало времени.

Дом внутри был тем же, каким он запомнил его ребёнком: очаг, ткацкий станок, деревянное ложе матери и — второе ложе, у стены, застеленное, нетронутое девять лет, — ложе отца. Спартиат не трогает ложе умершего до срока, назначенного домом. Мать назначила срок. Никострат видел это по тому, как лежала на ложе отца плащ — сложенный, готовый, ждущий хозяина.

— Ты видела их? — спросил он. Не «здравствуй, мать». Спартиаты сыновья не спрашивали у матерей здоровья — матери сами говорили, живы ли.

— Я видела его каждый день девять лет, — сказала мать. Она села у очага — не на скамью, на пол, как садятся те, кто готовит обряд. — Каждый день, Никострат. Он выходит в час, когда тень от дверного косяка ложится на порог, и стоит у второго ложа. Он не входит в тень. Он ждёт, пока я сама вынесу его плащ. Девять лет я выношу его плащ, и девять лет он не берёт его. А вчера он взял.

— Вчера ты была в Скопасе, — сказал Никострат.

— Вчера я была в Скопасе, — согласилась мать. — Я сидела под стеной скриптория, там, где сидят матери обвиняемых, и слушала, как внутри задают три вопроса. Я слышала третий вопрос. Я слышала твой ответ. И я слышала то, что сказал ты после — то, чего ты не говорил на суде: «сто сорок один». — Она подняла на него глаза. — Ты произнёс это число дважды, сын. Второй раз — не вслух. Второй раз его услышала я, потому что я умею считать мёртвых. Я научилась этому девять лет назад — в ночь, когда отец твой не проснулся.

Никострат опустился на колени у очага — не по обычаю, по тяжести. Печать под лопаткой горела согласием, и согласие это было стыдом.

— Почему ты молчала? — спросил он. — На суде. Если ты умела считать — почему не сказала эфорам, что отец был сто тридцать девятый?

— Потому что эфоры знают, — сказала мать просто. — Они знают триста лет. Твой молодой эфор — который дал тебе табличку — знаешь, кто его прадед? — Она помолчала. — Не спрашивай. Я скажу сама, потому что у нас мало времени, а у меня — один срок. Прадед твоего эфора был тем, кто триста лет назад стоял у алтаря. Он был вторым у алтаря. Он не нарушал клятву — он её слышал. И с тех пор род его платит: каждый носитель числа в этом роду служит эфором и задаёт выжившим три вопроса. Он спрашивает не их, сын. Он спрашивает алтарь. Каждый вопрос эфора — это вопрос, который триста лет ждёт ответа. И твой эфор дал тебе табличку не для города. Он дал её для алтаря — вернуть то, что его род занял триста лет назад. Вот почему табличка была перевёрнута. Вот почему она грелась. Ты нёс не запись, сын. Ты нёс долг.

Огонь в очаге дрогнул — не от сквозняка. В doorway тени от косяка лёг на порог ровно так, как сказала мать, и в тени стоял он. Никострат узнал бы отца из тысячи — по тому, как стоят плечи, по тому, как опущены руки. Отец не смотрел на сына. Отец смотрел на ложе — на плащ, который мать вынесла вчера и который он взял.

Плащ был надет на нём.

— Он взял плащ, — сказал Никострат.

— Он взял плащ, — повторила мать. — Потому что ты назвал число. Триста лет мёртвые из счёта ждали, пока кто-то назовёт их все — поимённо, с числами, как читают список. Жрица в Рамнунте читала тебе список, сын. Скажи мне — список закончился?

— Нет. После меня был ещё один. Гилипп. Сто сорок второй.

Мать закрыла лицо рукой — не плача, закрывая, как закрывают книгу, которую не досчитали.

— Тогда слушай последнее, что я могу тебе сказать как живая. Твой отец взял плащ, потому что счёт сходится. Когда ты назвал сто сорок второй — список перестал быть списком мёртвых. Он стал списком должников. Немезида не карает, сын. Немезида уравнивает. Триста лет город занимал у неё мёртвых — брал их в счёт войны и не отдавал. Теперь счёт требуют вернуть. Один на триста — триста на одного: это не проклятие, это условие возврата. И тот, кто назвал число, — тот расписался в долговой таблице. — Мать встала с пола — медленно, как встают в последний раз. — Ты должен уйти из дома до захода. Не потому, что выгоняю. Потому что сегодня ночью они придут за тем, что здесь хранится.

— За чем?

— За счётом отца. — Она подошла к ткацкому станку и отвела в сторону основу — за основой, в стене, была ниша, которой Никострат не знал. В нише лежала табличка — больше писцовской, старая, тёмная от воска. — Девять лет, с той ночи, как он не проснулся, я переписываю её каждый месяц. На ней — список. Не тот, который читала жрица. Другой. Список тех, кто у алтаря стоял вторым. Родов, которые слышали клятву и молчали. Там — род эфора. Там — род писца из Гереи, который умер четыре года назад и продолжает сидеть за столом. Там — род Волкова-вещеглава, который придёт к тебе в Тегее с проверкой. И там, сын, — мать положила табличку ему в руки, и табличка была тяжёлая, как щит, и тёплая, как ладонь, — там есть строка про наш род. Мы тоже стояли у алтаря. Твоего отца поставили в счёт не потому, что он нарушил. Его поставили в счёт за то, что он узнал число и промолчал девять лет. Как молчал я. Как молчал род эфора триста лет.

Снаружи, за дверью, послышался шаг. Один. Потом второй. Потом — строй.

Мать повернула лицо к двери. Никострат повернул вслед — и не увидел ничего: дверь была закрыта, вечер за окном пуст. Но шаги шли. Много. Ровно. Со скоростью, с которой идут домой, а не со скоростью, с которой идут за должником.

— Это не они, — сказал Никострат. — Они не приходят домой. Они идут за числом.

— Они идут за счётом, — сказала мать. — А счёт теперь — ты. Уходи, Никострат. Через заднюю дверь, к оливам. И возьми табличку. И запомни последнее: когда дойдёшь до Тегеи —

не доверяй тому, кто спросит тебя, сколько тебя шло. Тот, кто спросит «сколько вас», — друг. Тот, кто спросит «сколько тебя», — из списка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.